

*Анна Васильевна КРЫЖАНОВСКАЯ —  
старший преподаватель кафедры иностранных языков  
Тюменского государственного  
архитектурно-строительного университета,  
соискатель кафедры философии*

УДК 1+73

## **ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ И РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ**

*АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается этнолингвистический аспект формирования русского самосознания и развития русской философии.*

*The given article deals with the ethnolinguistic aspect of the generation of the Russian consciousness and evolution of the Russian philosophy.*

Основную роль в этнодифференциации играет язык — один из важнейших объективных факторов формирования и развития этноса. Язык не только является средством этнической коммуникации, не только формирует особое языковое сознание общности, но и во многом определяет коллективное бессознательное. Язык, как главная отличительная черта каждого народа, является важным фактором формирования национального самосознания. Он — хранилище духовной культуры, выразитель национального самосознания, он содержит в себе информацию о системе значимых ценностей, исторически сложившихся и утвердившихся в жизнедеятельности поколений. Шпет писал по этому поводу: «Язык, в полном материальном разнообразии своего развития, тесно связан с образованием «национального духа» (8; 11).

Закон Бахтина, согласно которому искусство и язык находятся в отношениях взаимной вины и ответственности, полностью распространяется на язык как главную сферу национальной культуры (1).

Важнейшим из ресурсов, которые позволяют русскому сознанию и русскому мироотношению осуществляться, был и остается русский язык. Любой национальный язык является не только средством выражения мыслей, он прежде всего формирует базовые структуры национального сознания и мышления, способствует их поддержанию и развитию. Но русский язык — это больше, чем просто национальный язык. Это язык сознания, которое альтернативно игровому европейскому сознанию.

«...каждый язык уникален и непохож на другие, поскольку уникален воплощенный в нем духовный мир народа... Язык... есть звуковое выражение духовной деятельности человека... Различие в мирозерцании должно отпечатываться и на различии звуковых элементов языка: чем существеннее признаки этого различия, тем языки дальше отстоят друг от друга» [3; 1].

Русский язык, вопреки всему, сложился в могучий европейский язык, что давало Мандельштаму основание писать: «Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, — именно: язык. Столь высоко организованный, столь органический язык не только — дверь в историю, но и сама история» (2; 396).

Русские и европейские представления в вопросе о языке можно назвать противоположными. В Европе всегда безраздельно господствовала созданная еще древними греками грамматическая концепция языка, которая предполагала человека в качестве внешней, независимой субстанции, создающей и опреде-

ляющей не только языковые нормы, но и ценностное содержание языка. Грамматическая интерпретация русского языка в России не только не была изначальной (первые грамматики появились лишь в XVIII в.), но всегда была предметом скептического отношения и недоверия.

Русский язык, несмотря на свою внешнюю схожесть с европейскими языками (в частности, с языками романо-германской группы), по существу, обладает не просто иной языковой структурой, но даже во многом противоположной структуре европейских языков. Это выражается в том, что русский язык в своем существе принципиально не конвенционален. Его суть проявляет себя в трактовке языкового закона. Конвенциональная система, к которой принадлежат все европейские языки, предполагает, что человеческий разум способен охватить, понять и адекватно интерпретировать целое языка и, соответственно, вывести «объективный» закон для языка, который является грамматическим законом. На Руси же считалось, что людям дана возможность приобщения к божественному языку благодаря текстам Священного писания, но они совершенно не властны над этим языком, соответственно и не могут его понимать и ограничивать какими бы то ни было законами [6].

В греко-латинской модели язык осознается как один из способов моделирования мира, в то время как русский способ освоения языка предполагает, что язык — это сама истина мира. Идея, порождающая текст, опережала правила языка, становилась истиной и законом языка. Не закономерности грамматики и риторики определяют текст, а сам текст создает закономерности и управляет ими. Церковно-славянский язык рассматривался на Руси в качестве кодифицированной, истинностной разновидности родной речи, и он не нуждался в грамматико-философском описании самого себя. Истина русского языка не грамматическая, а аксиологическая и метафизическая величина. Как утверждает Б. А. Успенский, «Церковнославянский язык ... связан с сакральным, Божественным началом. Отсюда понятны заявления древнерусских книжников, утверждающих, что на этом языке вообще невозможна ложь» [7; 50].

Н. С. Трубецкой подчеркивал что благодаря органическому слиянию в русском литературном языке церковнославянской стихии с великорусской словарь русского языка необычайно богат. Богатство русского языка заключается, в частности, в оттенках значений слов и стилистических типов [5].

Русский язык не нейтрален в отношении к истине и лжи, он изначально ценностно сориентирован. Это происходит за счет сосуществования в нем высокого, истинного языка и языка низкого, бытового. Это значит, что в русском языке нет нейтральных слов, нейтральных смыслов, все в нем имеет свою нравственную оценку. Любое иностранное слово, закрепившись в русском языке, получает свою ценностную заряженность.

Собственно русская философия отличается от всей *русскоязычной* философии, которая написана на русском языке, но по законам европейского философствования. Эти критерии связаны не с формальными, объявленными в качестве универсальных, законами. Эти критерии прежде всего направлены на выявление внутреннего соответствия, гармонии с бесконечным пространством русского языка. Это соответствие находит свое выражение, во-первых, в том, что русская философия не нуждается в искусственном терминологическом аппарате, созданном европейской философией, который в большей своей части представляет собой суррогат греческих и латинских слов. Этот терминологический ряд является избыточным для русского языка, нарушает его структуру, так как функции высокого языка, которые выполняют термины в европейских языках, в русском языке создаются церковнославянским языком, который, став частью русского языка, образовал его высокий слой. Термины традиционно переводят-

лись, активизируя церковнославянский слой русского языка и его словообразовательный аппарат. Только в этом случае не происходит разрыва между мировосприятием, миропониманием русского человека, которое определяется русским языком, его принципами устройства и его философствованием по поводу мира и себя самого. Во-вторых, негативное отношение русских к видимой, внешней завершенности и такого типа законам, неизбежно должно было воплотиться в особую форму философствования, отличную как от рационалистической европейской традиции, так и от ее иррационалистической ветки.

Иначе говоря, логика и грамматика не могут определить ни способы выражения русской мысли, ни само русское мышление. Идиоматичность, поэтичность, укорененность в истине и в стихии родного языка — вот что, в первую очередь, определяет самобытность русской философии.

В качестве примера самобытной русской мысли можно обратиться к философии одного персонажа — Козьмы Пруtkова. В наиболее полном и целостном виде она представлена в его афоризмах и мыслях. Этот жанр строится на русских языковых идиомах, на фразеологизмах, которые существуют лишь благодаря конкретным образным формам, свойственным именно русскому языку. Этим образным формам противопоставлены какие бы то ни было замены или уточнения, они также не могут быть прояснены, например, логически, без утраты богатства содержащихся в них смыслов. Особенности непосредственного, непереводаемого юмора сочинений Пруtkова идут от здорового национального самосознания.

«Мудрость» Пруtkова — это прежде всего реакция на рационализм, на просветительскую веру в безграничную преобразующую силу разума. В афоризмах Пруtkова прочитывается насмешка над абстрактным, самонадеянным умствованием. Его мысль разрушает умствование, доводя его до верха претенциозности, придавая ему гипертрофированный пафос.

Критика Пруtkова направлена не только против абсолютизации европейского разума в рамках европейской философии, но и против официальной философии, которая господствовала в России в XIX веке. Официальная русская философия приняла в качестве аксиомы европейские законы мышления и определенные каноны выражения мысли. Но с точки зрения Пруtkова форма как таковая не может быть задана извне, она определяется самой мыслью. «Купи прежде картину, а потом рамку», — рекомендует философ.

Философские интересы К. Пруtkова связаны не только с критикой уже существующих способов философствования, но и с созданием собственной концепции. В ее основе лежит принцип «нельзя объять необъятное», на который опирается вся философия К. Пруtkова. Этот принцип диаметрально противоположен греко-европейскому подходу к миру, который как раз изыскивает различные способы представить бесконечность мира в конечных универсальных формулах, подобных логике и грамматике. Принципы же К. Пруtkова исходят из понимания принципов устройства русского языка, в основе которых заложена идея бесконечного стремления человека к постижению Истины, ориентацию на эту Истину, но одновременно понимание, что она неопределима и недоступна для человеческого мышления.

Философия Пруtkова заключена не столько в декларируемых им принципах, сколько в особых формах выражения мысли. Русскому языку и русскому миросозерцанию чужда идея определенности и законченности. Поэтому философия Пруtkова самой своей формой отрицает идею авторства, как она понималась в европейской философии (а именно — автор выполняет божественную функцию, обладая универсальной, всевидящей, всепонимающей и всеопределяющей точкой зрения в рамках своего текста).

Отказ от единой и однозначной авторской позиции, то есть от единой точки отсчета, с которой открывается мир, выполняется Прутковым в форме одновременного присутствия и отсутствия автора. В этом мире открывается возможность иного отношения к законам греческой логики, в частности, к закону запрещения противоречия или закону исключенного третьего, где ставится под вопрос их универсальность.

Формально идея языковой рациональности отсылает к герменевтическим интервенциям М. Хайдеггера и Г. Гадамера в национальные языки. С точки зрения такой рациональности рационально лишь то выказывание, действие или чувствование, которое коррелирует в своем смысле со смыслом самого языка, причем связь должна быть установлена именно с естественным языком, т. е. с конкретной идентичностью. Многообразие видов языковой рациональности зависит от того, с чем именно мысль согласуется. Это может быть идиоматика языка, уникальная система языка в целом или конкретные структурные отношения языка. Идея языковой рациональности находится в зависимости от гипотезы Сепира-Уорфа, часто называемой *гипотезой лингвистической относительности*, которая исходит из предположения, что структура языка определяет структуру мышления и способ познания внешнего мира. Каждый язык создает своеобразную *языковую картину мира*. Связь мысли и языка в гипотезе лингвистической относительности — фундаментальная предпосылка такой рациональности.

К примеру, русская самобытная мысль Ф. М. Достоевского прежде всего избегает наукообразных и логических форм. Она подчинена русскому языку и тому мировосприятию, которое он формирует. Один из существенных принципов русского миропонимания связан с невозможностью для человека быть завершающим, определяющим началом для пространства языка, той инстанцией, которая способна каким бы то ни было образом ограничить язык.

В мысли Ф. М. Достоевского этот принцип работает благодаря тому, что тексты Достоевского являются одновременно и художественными, и философскими. В силу этого они свободны от терминологической загруженности, которая неизбежна для научных текстов и чужда русскому языку. Язык же художественного произведения не может быть языком однозначным в силу того, что он формируется всегда непосредственно из живого языка, с его бесконечной вариативностью смыслов и значений. И эти смыслы и значения прочитываются не логически, а благодаря непосредственной связи, которая существует между языком, мирозерцанием и миропониманием.

Кроме того, этот принцип полностью воплотился в уникальной, по словам М. Бахтина, форме его романов. М. Бахтин впервые заговорил о полифоническом художественном мышлении, выходящем за пределы романного жанра. Этому мышлению доступны, прежде всего, мыслящее человеческое сознание и диалогическая сфера его бытия, которые не поддаются художественному освоению с монологических позиций.

Главной особенностью полифонических романов Достоевского стало отсутствие объективного, то есть объектного образа героя. Слово героя так же полномерно, как слово автора, оно не является рупором авторского голоса и звучит рядом с авторским словом. Созданные таким образом равноправные позиции автора и героя внутри романа дают возможность для построения иного, отличного от греко-европейского, мироустройства. Такое положение делает невозможной ни единую, ни единственную точку зрения, ни точку отсчета. Для европейского сознания такая точка неизбежна и она существует в виде всепоглощающего, всезнающего, абсолютного сознания автора, которое проявляется в литературе, в частности, в форме романного жанра, в философии — как идея истины, космоса, универсума, а в языке — как идея грамматики. Философия Достоевского исключает привилегированную точку видения.

Диалог же, демонстрируемый Достоевским в своих романах, позволяет освободиться от навязываемой европейским мирозерцанием установки на привилегированную точку зрения и от субъектно-объектного отношения человека к миру, которое порождает привилегированная позиция человека. Это уже не тот диалог европейских романов, который создается лишь как сюжетное столкновение двух изображаемых позиций, точнее, видимость столкновения, ибо в конечном счете все изначально подчинено высшей и последней инстанции автора. Монологический контекст европейских романов не размыкается и не ослабляется. Диалоги же Достоевского принципиально организованы как незакрывающееся целое. И с этим связан особый способ порождения смыслов и их организации, также отличный от европейского. Смыслы Достоевского живут не в том времени, в котором живут его герои или протекает биографическая жизнь автора. Смысл, с точки зрения Достоевского, есть вечная актуальность, он каждый раз порождается заново и рождается не как слово, голос, акцент, а как надсловесное, надголосовое, надакцентное единство, созданное каждый раз обновляющимся диалогом. Творящийся смысл (смысл, который не может быть абсолютным), который не довлеет извне своей обязательностью и непререкаемостью — это единственно возможный смысл.

У Достоевского мы не найдем отдельных мыслей, положений типа изречений, афоризмов, которые можно было бы выделить из контекста и сохранить в безличной форме, не потеряв при этом их смысла. Если литература европейского Просвещения выработала даже особый тип афористического мышления, который создавал высказывания, претендующие на вечную истинность, которая не зависит от контекста, то Прутков и Достоевский считали подобную независимость кажущейся. Афоризм, как прообраз единой истины, ухваченный человеком в слове, представлялся им одной из иллюзий человеческого мышления.

Еще В. В. Розанов различал две противоположные тенденции в развитии философии в России — западно-ориентированную и исконно русскую, «официальную философию университетских кафедр» и «философское сектантство, темные, бродящие философские искания». Первая ветвь этой «философии» поддерживает идею, что у нас «все от варяг быша», и потому нет в ней не только чего-нибудь «народного» или идущего от живого общества, но нет вообще книги как живого и целого явления, несущего на себе печать лица. Вторая, «сектантская» ветвь — не имея научного декорума и даже часто плана, в высшей степени полна «жизненного пороха»: взрывчатости, самогорения, порыва мысли и всегда около действительности, около «природы вещей». Эта философия тесно связана с нашей литературой, тогда как первая связана исключительно с учебными нуждами. Таков ход розановских рассуждений.

В трилогии Розанова «Уединенное» (1913) и «Опавшие Листья» (1913 и 1915) поражает магия слова. Менее всего писатель стремился к созданию последовательной философской религиозной или литературно-критической концепции. Принцип «бесформенности» превалирует в «случайных» записях, набросках «для себя», составляющих трилогию и отражающих сам процесс мышления, что для Розанова существеннее законченной системы или догмы.

Все, сказанное Розановым, не может быть переформулировано иначе, чем им сказано на родном русском языке, не может быть переведено на другой язык, на другую, отличную от розановской, стилистику без того, чтобы его не мысль угасла, не поблекла; не может быть оторвано от внутреннего национального опыта, без того, чтобы его мысль не была исковеркана, а то и вовсе потеряна. Многоуровневость русского языка, играющая взаимопереходами между своими слоями, высоким и низким, книжным и бытовым, не может быть в принципе переведена на другой язык, она принципиально уникальна. На этой внутренней игре слоев русского языка строятся розановские смыслообразования.

У Розанова мысль не отделима от конкретной фразы русского языка, в которой она воплощается в данном случае и в данном месте. Его мысль слита со способом своего выражения, не отличима от него. Всякий стилистический перевод его мысли является опасным, если он не опирается на поэтические возможности русского языка. Для собственно русской философии, в том числе и для Розанова, жанр и стиль повествования сам по себе является философской проблемой, решаемой всегда не столько теоретически, сколько практически в создаваемых им произведениях. В. В. Розанов извлекает смыслы из самого русского языка, из его национальной укорененности.

Зафиксировав тот факт, что, по крайней мере, для русского человека, существенны определенные аспекты жизни, которые не могут быть высказаны вербально, русская мысль ищет такие способы, которыми они могут быть переданы, в частности, через контекст, или благодаря игре смыслов содержатся между строк. Часто это может выражаться в намеренном нарушении грамматики, которое следует воспринимать как определенного рода протест против вечности и неоспоримости, абсолютности и универсальности человеческих законов, которыми пытаются определить то, что не может быть в принципе определено однозначно, раз и навсегда, для всех народов. Имеется в виду отношение к языку, его понимание и освоение, а также порождаемый им тип мышления.

По нашему мнению, особенность русского языка, определившая характер как философствования, так и умонастроения носителей культуры в целом, заключается в том, что русский язык словно бы размещается внутри мира и одновременно образует его часть. Такой язык обладает сходством с вещами, образно обволакивая их, но не именуя по сущности.

Природа русского философского гения склонна к образному мышлению, к поэтичности. Поэтому для русской культуры наряду с умозрением в красках — иконописью — характерны и феномены философии в образах — русская классическая литература XIX в., а также неопатристики — русская христианская философия XX в., пронизанная литературными темами и художественным мышлением.

Многие, на первый взгляд, «странные вещи» в русской культуре так ими и останутся, если не принимать в расчет такую особенность, как ее поэтичность — например, философичность русской поэзии А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева и поэтичность русской философии Г. Сковороды, А. С. Хомякова, В. С. Соловьева. Многие деятели русской культуры искали в философии не только и не столько научно-рациональное объяснение сложностей жизни. Они искали, прежде всего, нравственное понимание человеческого страдания и борьбы добра и зла в их трагической эсхатологической полноте, понимание глубочайших смысловых сюжетов, очень часто облакавшееся в художественно-публицистическую, поэтическую форму. Знаменитое «сродство поэзии и философии», о котором писал еще Аристотель, состоит в обращенности мыслительной деятельности человека в процессе самопознания, в культуре не только к формально-логическим схемам, но и к художественно-нравственным началам.

Русская философия возникает и существует как вид литературы. И в этом смысле она отдает предпочтение не языку исследования, а языку повествования. В то время как европейская философия создается в форме науки, ориентированной на язык исследования.

Если в других европейских культурах проблемой человека занимались профессионалы и узкие специалисты всех областей гуманитарных знаний, то в России эта миссия — найти и познать человека — выпала исключительно или главным образом на долю художников слова, писателей. И даже большинство наших философов, таких, как Бердяев, Розанов или Леонтьев, были одновре-

менно и писателями, а возможно, прежде всего, писателями. В противовес европейской академичности русская философия всегда была в значительной степени художественной.

Русский дискурс состоит, по крайней мере, из нескольких элементов. Во-первых, это национальные идиомы, смыслы, коренящиеся в пословицах, поговорках, сказках, притчах, прибаутках и т. д. Пословицы и поговорки — это наиболее лаконичная и устоявшаяся языковая форма, в которой зафиксированы проявления народного сознания, воли, мироощущения, — «пословица есть своего рода этностереотип, отсеянный временем и отложившийся в народной памяти» (4; 98).

Во-вторых, это язык, на котором говорили славянофилы и, следовательно, все тематизации этого языка. В-третьих, это культурно-символические содержания, восходящие к православной вере.

Следуя за мыслью М. М. Бахтина, можно сказать, что кроме индивидуального авторства отдельных текстов русская философия обладает и коллективным носителем — речевым субъектом ее языкового стиля.

Близость и взаимопереход идей и образов русской литературы и философии объясняется тем, что с самого своего появления в поле их рассмотрения и выражения был один общий объект — субстанциальные начала русской жизни. Совпадения, следовательно, объясняются не столько взаимным влиянием философии и литературы, сколько отражением одних и тех же объективных сущностей, решением кардинальных вопросов антропологии, метафизики добра и зла, социально-исторических целей.

Эпохи советского и постсоветского периодов отечественной истории характеризовались особой мифологемой официального философского языка. В 20-е гг. XX в., когда свободная философская мысль еще оказывала достойное сопротивление зарождающейся идеологической практике сталинизма, язык марксистского анализа сталкивался с явным культурфилософским противостоянием (последние публикации А. А. Богданова, «восьмикнижие» А. Ф. Лосева, «ницшеанские» штудии Ф. Ф. Куклярского). Тем не менее доктринальные позиции официального марксизма постепенно замещали собой любые проявления языкового и содержательного инакомыслия. Характерной чертой этого языка стала логическая оформленность схоластического типа.

В 1930-50-е гг. язык официальной философии обретает видимость абсолютной завершенности. Преступлением могли оказаться не только выдержанные в «неопределенном» духе идеологические пассажи, но даже простая буквенная опечатка. «Логическое» становится равным «идеологическому». Внешняя форма выражения философа-марксиста выливается в позитивистский дискурс.

Период «оттепели» 1960-х гг. даровал не просто некоторую идеологическую свободу, но и логическую (языковую) вольность. Философские (особенно этического плана) трактаты этого периода изобилуют языковыми фигурами. «Вольнодумие в рамках» становится чем-то вроде признака свободного философствования.

1970-80 гг. в определенном смысле попытались объединить предшествующие парадигмы. С одной стороны, целеполагающая неопровержимость дополнялась свободой литературного изложения. С другой стороны, характерная для 20-х гг. внешняя оформленность противостояния окончательно стала внутренним делом философского (политологического) текста. Но даже в этих условиях были возможны оригинальные, талантливые по языку способы мышления.

Новейшая история демонстрирует любопытный феномен: прорыв к истинности философского языка, запрещенный в предыдущие периоды, сочетается с разнообразными попытками возрождения новой эклектики.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М. М. Искусство и ответственность // Эстетика словесного творчества. М., 1979
2. Мандельштам О. «Сохрани мою речь». Лирика разных лет. Избранная проза. М.: Школа-Пресс, 1994
3. Некрасов Н. П. Лекции по русскому языку, прочитанные в Императорском историко-филологическом институте в 1883/4 году. СПб., (литографированная рукопись)
4. Сикевич З. В. Национальное самосознание русских. М., РАН, 1996
5. Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1985.
6. Успенский Б. А. История русского литературного языка. (XI-XVII вв.). М., 1988.
7. Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX вв.). М., 1994.
8. Шпет Г. Внутренняя форма слова. М.: ГАХН, 1927

*Николай Николаевич ГУБАНОВ —  
аспирант Московского государственного  
технического университета им. Н. Э. Баумана*

УДК 140.8

**РОЛЬ МЕНТАЛИТЕТА В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА**

*АННОТАЦИЯ. На основе рассмотрения концепций экономического, культурного и технологического детерминизма обоснована гипотеза о том, что наиболее существенная движущая сила развития общества обусловлена противоречием между менталитетом коллективного субъекта и социальными отношениями.*

*On the basis of the concept of economic, cultural and technological determinism author has proved hypothesis that most essential moved force of development of society was caused by the contradiction between collective subject's mentality and social relations.*

В социальной философии обосновывается положение о том, что в развитии социума имеет место полидетерминизм. Предполагается, что данная идея плодотворна при условии признания того, «что: а) сама многофакторность понимается системным образом и б) вес различных факторов в целом неодинаков» [1; 98]. Мы попытаемся показать, что развитие социума действительно детерминруется многими факторами, но из них наиболее существенная движущая сила — изменения в менталитете индивидов и социальных групп. Предлагаемый вариант мы условно назовем социокультурной гипотезой функционирования менталитета в обществе. Как и любая гипотеза, эта точка зрения, естественно, должна подвергаться критическому рассмотрению.

Дадим вначале наше понимание сущности и содержания менталитета. Введение нового термина имеет смысл тогда, когда для него обнаруживается специфический денотат — совокупность объектов, которая до этого не имела своего наименования. Духовный мир человека в целом и все его элементы, сознательные и бессознательные, уже имеют свои названия, и для их обозначения новый термин не требуется. А вот особенности духовного мира не имели своего обозначения. Их-то и можно именовать термином «менталитет». Ранее нами было показано, что понятие менталитета соответствует общефилософской категории особенного. *Менталитет — это возникшая на основе генотипа под влиянием природной и социальной среды и в результате собственного духовного творчества субъекта система качественных и количественных*